Константин Симонов

ВОЙНА

стихи
1937 ~ 1943

Константин Симонов

С37

S1913

ВОЙНА

Стихи 1937 — 1943 гг.

ОК

Пенз. Обл. б-ка
имени
М. Ю. Лермонтова
Читальный зал

МОСКВА

Советский писатель
1944

С—37

Редактор *А. Ступникер*

Подписано к печати 11/II 1944 г. А.2701. Печ. л. 4⅜. Авт. л. 5,33. Уч.-изд. л. 5,53. Тираж 20.000 Заказ 1692
Цена 6 руб.

Тип. „Красный печатник", улица 25 Октября, 5.

СТИХИ 1943 ГОДА

ДОМ В ВЯЗЬМЕ

Я помню в Вязьме старый дом.
Одну лишь ночь мы жили в нем.

Мы ели то, что бог послал,
И пили, что шофер достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.
Кто был в ту ночь, иных уж нет.

Но знаю я, что в смертный час
За тем столом он вспомнил нас.

В ту ночь, готовясь умирать,
Навек забыли мы, как лгать,

Как изменять, как быть скупым,
Как над добром дрожать своим.

Хлеб пополам, кровь пополам —
Так жизнь в ту ночь открылась нам

Я помню в Вязьме старый дом.
В день мира прах его с трудом

Найдем средь выжженных печей
И обгорелых кирпичей.

Но мы складчину соберем
И вновь построим этот дом,

С такой же печкой и столом,
С осколком выбитым стеклом,

Что было в доме, все точь в точь,
Как в ту, нам памятную, ночь.

И если кто-нибудь из нас
Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,
Солжет или изменит нам,

Иль, находясь в чинах больших,
Друзей забудет фронтовых,

Мы суд солдатский соберем
И в этот дом его сошлем.

Пусть посидит один в дому,
Как будто утром в бой ему.

Как будто, если лжет сейчас,
Он, может, лжет в последний раз,

Как будто хлеб он не дает
Тому, кто к вечеру умрет,

И палец подаст тому,
Кто завтра жизнь спасет ему.

Пусть, вместо нас, лишь горький стыд
Ночь за столом с ним просидит.

Мы, встретясь, по его глазам
Прочтем: он был иль не был там.

Коль не был, значит, круг друзей
На одного еще тесней.

Но если был, мы у него
Не спросим больше ничего.

Он вновь по гроб нам будет мил.
Пусть просто скажет: «Я там был».

ТРИ БРАТА

Россия, родина, тоска...
Ты вся в дыму, как поле боя.
Разломим хлеб на три куска,
Поделимся между собою.

Нас трое братьев. Говорят,
Как в сказке, мы неодолимы.
Старшой, меньшой и средний брат —
Втроем идем мы в дом родимый.

Идем, не прячась непогод,
Идем, не ждя, чтоб даль светала.
Мы — путники. Уж третий год
Нам посохом винтовка стала.

Наш дом еще далек, далек.
Он — там, за боем, там, за дымом,

Он — там, где тлеет уголек
На пепелище нелюдимом.

Он — там, где, нас уставши ждать,
Босая на жнивье колючем,
Все плачет, плачет, плачет мать,
Все машет нам платком горючим.

Как снег был бел ее платок,
Но путь наш долог был и торен,
И стал от пыли тех дорог,
Как скорбь, он черен, черен, черен...

Нас трое братьев. Кто дойдет?
Кто счет сведет долгам и ранам?
Один из нас в пыли падет,
Как сноп, сражен железом бранным.

Второй, израненный врагом,
Окровавлен, в пути отстанет,
И быть былых слепым певцом,
Быть может, он для внуков станет.

Но невредимым третий брат
Придет домой и дверь откроет,
И материнский черный плат
В крови врага стократ омоет.

СОЛДАТСКИЙ РАЗГОВОР

Последний кончился огарок,
И по невидимой черте
Три красных точки трех цыгарок
Безмолвно бродят в темноте.

О чем наш разговор солдатский?
О том, что нынче Новый год,
А света нет, и холод адский,
И снег, как каторжный, метет.

Один сказал: — Моя сегодня
Полы помоет, как при мне.
Потом детей, чтоб быть свободней,
Уложит. Сядет в тишине.

Ей сорок лет — мы с ней погодки,
Всплакнет ли, просто ли вздохнет,

Но уж, наверно, рюмкой водки
Меня по-русски помянет...

Второй сказал: — Уж год с лихвою
С моей война нас развела.
Я, с молодой простясь женою,
Взял клятву, чтоб верна была.

Я клятве верю. Коль не верить,
Как проживешь в таком аду?
Наверно, все глядит на двери,
Все ждет, сегодня вдруг приду...

А третий лишь вздохнул устало:
Он думал о своей, о той,
Что с лета прошлого молчала
За черной фронтовой чертой...

И двое с ним заговорили,
Чтоб не грустил он, про войну,
Куда их жены отпустили,
Чтобы спасти его жену.

МАТВЕЕВ КУРГАН

Забравшись к отцу в кабинет,
Под пыли слежавшейся горсткой
Однажды найдешь ты планшет
Со старою картой-двухверсткой.

На ней ни долгот, ни широт,
Ни Рака, ни Козерога...
Лишь узкая речка течет,
Деревня, лесок и дорога.

Начавший уже собирать
Красивые южные марки,
Ты будешь весь мир узнавать
От штата Техас до Ямайки,

Индийского моря лазурь,
Плывущие в рифах медузы,

Мыс Доброй Надежды, мыс Бурь,
Холодный пролив Лаперуза.

И будет тебе невдомек:
Зачем у отца бережливо
Лежит этой карты листок,
Где нет ни пустынь, ни проливов?

Зачем, когда гости к отцу
Придут, те, что редко бывают,
И близится вечер к концу,
И мать им вина подливает,

Зачем им отец принесет
Ту самую скучную карту,
И все, кто в тот вечер придет,
Нагнутся над ней, как за партой,

И, вместо полуденных стран,
Вдруг вспомнят про Старую Руссу,
Какой-то Матвеев Курган,
Какую-то речку Минусу?

Подкравшись к отцу своему,
Вдруг спросишь ты, всеми забытый

— Матвеев Курган? Почему?
Лежит богатырь здесь убитый?

Мелькнет в его взоре печаль,
И скажет он голосом странным:
— Да, там богатырь. Только жаль,
Что он не один под курганом.

Потом, проводивши гостей,
На стенах окинет он глазом
Портреты усатых людей,
Что здесь ты не видел ни разу.

И вдруг, чтоб не видела мать,
Обычно такой непреклонный,
Свой старый наган поиграть
Он даст тебе, вынув патроны.

У ОГНЯ

Кружится испанская пластинка,
Изогнувшись в темную дугу,
Женщина под черною косынкой
Пляшет на вертящемся кругу.

Одержима яростною верой
В то, что он когда-нибудь придет,
Вечные слова: «Jo te quiero»[1]
Пляшущая женщина поет.

В дымной, промерзающей землянке,
Под накатом бревен и земли,
Человек в тулупе и ушанке
Говорит, чтоб снова завели.

У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас.

---

[1] По-испански—„Я тебя люблю".

Под Мадридом продырявлен в первый
И под Сталинградом — в пятый раз.

Он глаза устало закрывает,—
Он да песня — больше никого...
Он тоскует? Может быть. Кто знает?
Кто спросить посмеет у него?

Проволоку молча прогрызая,
По снегу ползут его полки.
Южная пластинка, замерзая,
Делает последние круги.

Светит догорающая лампа,
Выстрелы да снега синева...
На одной из улочек Дель-Кампо
Если ты сейчас еще жива,

Если бы неведомою силой
Вдруг тебя в землянку залучить,—
Где он, тот голубоглазый, милый,
Тот, кого любила ты, спросить?

Ты, подняв опущенные веки,
Не узнала б прежнего, того,

В грузном поседевшем человеке,
В новом, грозном, имени его.

Что ж, пора. Поправив автоматы,
Встанут все. Но, подойдя к дверям,
Вдруг он вспомнит и мигнет солдату:
— Ну-ка, заведи вдогонку нам.

Тонкий луч за ним блеснет из двери,
И метель их сразу обовьет.
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина вослед им запоет.

Потеряв в снегах его из вида,
Пусть она поет еще и ждет,—
Генерал упрям, он до Мадрида
Все равно когда-нибудь дойдет.

СЛЕПЕЦ

На видевшей виды гармони,
Перебирая хриплый строй,
Слепец играл в чужом вагоне
«Вдоль по дороге столбовой».

Ослепнувший под Молодечно
Еще на той, на той войне,
Из лазарета он, увечный,
Пошел, нахмурясь, по стране.

Сама Россия осенила
Крестом калеку в забытьи
И во владенье подарила
Дороги длинные свои.

Он шел, к увечью привыкая.
Струились слезы по лицу.

Вилась дорога столбовая,
Навеки данная слепцу.

Все люди русские хранили
Его, чтоб был он невредим,
Его крестьяне подвозили,
И бабы плакали над ним.

Проводники вагонов жестких
Через Сибирь его везли.
От слез засохшие полоски
Вдоль черных щек его легли.

Он слеп. Кому какое дело
До горестей его чужих?
Но вот гармонь его запела,
И кто-то первый вдруг затих...

И сразу на сердца людские
Печаль, сводящая с ума,
Легла, как будто вдруг Россия
Взяла их за руки сама

И повела под эти звуки
Туда, где пепел и зола,

Пенз. Обл. б-ка
имени
М. Ю. Лермонтова
Читальный зал

Где женщины ломают руки
И кто-то бьет в колокола,

По деревням, по пепелищам,
Среди нагнувшихся теней.
— Чего вы ищете? — Мы ищем
Своих детей, своих детей...

По бедным, вымершим равнинам,
По желтым волчьим огонькам,
По дымным заревам, по длинным
Степным бесснежным пустырям,

Где со штыком в груди открытой
Во чистом поле, у ракит,
Рукой родною не обмытый,
Сын русской матери лежит,

Где, если будет враг в ответе,
Уликою то там, то тут
Непохороненные дети
Гвоздикой красной прорастут,

Где ничего не напророчишь
Черней того, что было там...
. . . . . : : :

— Стой, гармонист. Чего ты хочешь?
Зачем ты ходишь тут и там?

Свое израненное тело
Уже я нес в огонь атак.
Тебе Россия петь велела?
Я ей не изменю и так.

Скажи ей про меня: не станет
Солдат напрасно отдыхать,
Как только раны чуть затянет,
Пойдет солдат на бой опять.

Скажи ей: не ища покоя,
Пройдет солдат кровавый путь.
Ну, и сыграй еще такое,
Чтоб мог я сердцем отдохнуть...
. . . . . .

Слепец лады перебирает,
Он снова только стар и слеп.
И раненый слезу стирает
И режет пополам свой хлеб.

СЧАСТЬЕ

Мальчиком он был. Его спросили:
— Что ты хочешь, чтобы быть счастливым?
— Я хочу проехать на лошадке
И подуть в солдатскую трубу.

Юношей он стал. Его спросили:
— Что ты хочешь, чтобы быть счастливым?
— Я хочу весь белый свет объехать
И, не старясь, до ста лет прожить.

Стал солдатом он. Его спросили:
— Что ты хочешь, чтобы быть счастливым?
— Я хочу, раз выбирать уж надо,
Умереть, чтоб родину спасти.

Умер он. Его вдову спросили:
— Что ты хочешь, чтоб не быть несчастной?
— Я хочу, коль он уж не воскреснет,
Чтоб мой сын хотел того ж, что он.

ФЛЯГА

Когда в последний путь
Ты отправляешь друга,
Есть в дружбе, не забудь,
Посмертная услуга:

Оружье рядом с ним
Пусть в землю не ложится,
Оно еще с другим
Успеет подружиться.

Но флягу, что с ним дни
И ночи коротала,
Над ухом ты встряхни,
Чтоб влага не пропала.

И коль ударит в дно
Зеленый хмель солдатский,

На два глотка вино
Ты раздели по-братски.

Один глоток отпей,
В земле чтоб мертвым спалось
И дольше чтоб по ней
Живым ходить осталось.

Оставь глоток второй
И, прах предав покою,
С ним флягу ты зарой,
Была чтоб под рукою.

Чтоб в день победы смог,
Как равный, вместе с нами
Он выпить свой глоток
Холодными губами.

СТИХИ 1942 ГОДА

ПЕХОТИНЕЦ

Уже темнеет. Наступленье,
Гремя, прошло свой путь дневной,
И в нами занятом селенье
Снег смешан с кровью и золой.

У журавля, где как гостинец
Нам всем студеная вода,
Ты сел, усталый пехотинец,
И все глядишь назад, туда,

Где, в полверсте от крайней хаты,
Мы, оторвавшись от земли,
Под орудийные раскаты,
Уже не прячась, в рост пошли

И ты уверен в эту пору,
Что раз такие полверсты
Ты смог пройти, то, значит, скоро
Пройти всю землю сможешь ты.

АТАКА

Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Был должен броситься в атаку,
Винтовку вскинув на бегу,

Какой уютной показалась
Тебе холодная земля,
Как все на ней запоминалось:
Промерзший стебель ковыля,

Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть рассыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.

Казалось, чтобы оторваться,
Рук мало — надо два крыла,

Казалось, если лечь, остаться —
Земля бы крепостью была.

Пусть снег метет, пусть ветер гонит,
Пускай лежать здесь много дней.
Земля. На ней никто не тронет,
Лишь крепче прижимайся к ней.

Да, этим мыслям, ты им верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка.

Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неуловимый миг
Уже тяжелою походкой
Бежал по снегу напрямик.

Осталась только сила ветра,
И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне.

Но до немецкого окопа
Тебя довел и в этот раз
Твой штык, которого Европа
Не сможет перенять у нас.

СЛАВА

За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руки занеся.

Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил итти.

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

БАЛЛАДА

Я знаю, ты бежал в бою
И этим шкуру спас свою.
Тебя назвать я не берусь
Одним коротким словом: трус.
Пускай ты этого не знал,
Но ты в тот день убийцей стал.
В окоп, что бросить ты посмел,
В ту ночь немецкий снайпер сел.
За твой окоп другой боец
Подставит грудь под злой свинец.
Назад окоп твой взяв в бою,
Он сложит голову свою.
Не смей о павшем песен петь,
Не смей вдову его жалеть.
Не немец — ты его убил
Тем, что когда-то отступил!

СМЕРТЬ ДРУГА

Памяти Евгения Петров

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он хлеб с тобой не разделяет;
Из фляги из твоей не пьет,

В землянке, занесен метелью,
Застольной не поет с тобой
И рядом под одной шинелью
Не спит у печки жестяной.

Но все, что между вами было,
Все, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься рядом не смогло.

Наследник гнева и презренья,
С тех пор, как друга потерял,

Двойного слуха ты и зренья
Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем женам,
Воспоминанья — сыновьям,
Но по полям, войной сожженным,
Итти завещано друзьям.

Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Все тяжелее груз наследства,
Все уже круг твоих друзей.

Неси ж их груз, в боях кочуя,
Не оставляя ничего,
С ним вместе под огнем ночуя,
Неси его, неси его.

Когда же ты нести не сможешь,
То знай, что, голову сложив,
Его ты только переложишь
На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,
Из третьих рук твой груз возьмет,
За мертвых мстя и ненавидя,
Его к победе донесет.

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Пожар стихал. Закат был сух.
Всю ночь, как будто так и надо,
Уже не поражая слух,
К нам долетала канонада.

И между сабель и сапог,
До пояса не доставая,
Внизу, как тихий василек,
Бродила девочка чужая.

Где дом ее, что стало с ней
В ту ночь пожара, мы не знали.
Перегибаясь к ней с коней,
К себе на седла поднимали.

Я говорил ей: «Что с тобой?»
И вместе с ней в седле качался.

Пожара отсвет голубой
Навек в глазах ее остался.

Она, как маленький зверек,
К косматой бурке прижималась,
И глаза синий уголек
Все догореть не мог, казалось.

. . . . . .

Когда-нибудь в тиши ночной,
С черемухой и майской дремой,
У женщины, совсем чужой
И всем нам вовсе незнакомой,

Заметив грусть и забытье
Без всякой видимой причины,
Что с нею, спросит у нее
Чужой, не знавший нас, мужчина

А у нее сверкнет слеза,
И, вздрогнув, словно от удара,
Она поднимет вдруг глаза
С далеким отблеском пожара.

«Не знаю, милый». А в глазах
Вновь полетят в дорожной пыли

Кавалеристы на конях,
Какими мы когда-то были.

Деревни будут догорать,
И кто-то под ночные трубы
Девчонку будет поднимать
В седло, накрывши буркой грубой.

БЕЗЫМЯННОЕ ПОЛЕ

За Дон мы отходим, товарищ,
Неравный достался нам бой,
Степное кровавое солнце
Заходит у нас за спиной.

Мы мертвым глаза не закрыли,
Придется нам вдовам сказать:
Мы слишком с тобою спешили,
Чтоб долг им последний отдать.

Ты, кажется, слушать не можешь?
Ты руку занес надо мной.
За слов моих страшную горечь
Прости мне, товарищ родной.

Прости мне мои оскорбленья,
Я с горя тебе их сказал.

Я знаю, ты рядом со мною
Сто раз свою грудь подставлял.

Я знаю, ты пуль не боялся
И жизнь, что дала тебе мать,
Берег ты с мужскою надеждой
Ее подороже продать.

Ты скажешь, что мертвых порою
Завидовал сам ты судьбе,
Что мертвые сраму не имут,
Нет,— имут, скажу я тебе.

Когда на восток мы уходим,
Мне чудится, в страшной ночи
Встают мертвецы всей России,
Поют мертвецам трубачи,

Беззвучно играют их трубы,
Незримы от ног их следы,
Словами беззвучной команды
Их ротные строят в ряды.

Они не хотят оставаться
В забытых могилах своих,

Чтоб пушек немецких колеса
К востоку ползли через них.

В бело-зеленых мундирах,
Как при Великом Петре,
Мертвые преображенцы
Строятся молча в каре.

Плачут седые капралы,
Протяжно играет рожок,
Впервые с Полтавского боя
Уходят они на восток.

Из-под твердынь Измаила,
Не знавший досель ретирад,
Понуро уходит последний
Суворовский мертвый солдат.

Идут, наклонив багинеты,
И в землю угрюмо глядят,
Как будто им боязно встретить
Фельдмаршала мертвого взгляд.

Гремят барабаны в Карпатах,
И трубы над Бугом поют,

Сибирские мертвые роты
У стен Перемышля встают.

И на истлевших постромках,
Вспять через Неман и Прут,
Артиллерийские кони
Разбитые пушки везут.

Так дай же мне клятву, товарищ,
Что больше ни шагу назад,
Чтоб больше не шли вслед за нами
Безмолвные тени солдат.

Чтоб там, где мы стали сегодня,
Пригорки, да мелкий лесок,
Куриный ручей в пол-аршина,
Прибрежный отлогий песок,

Чтоб этот, досель неизвестный,
Кусок нас родившей земли
Стал местом последним, докуда
Последние немцы дошли.

Пусть то безымянное поле,
Где нынче пришлось нам стоять,

Вдруг станет той самой твердыней,
Которую немцам не взять.

Ведь тоже в Можайском уезде
Лишь знали названье села,
Которое позже Россия
Бородиным назвала.

30 июля

УБЕЙ ЕГО!

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл,
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы,
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой, сто лет назад,
В землю вкопанный дедом стол,
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме немец топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал..

Если мать тебе дорога,
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть,
Если вынести нету сил,
Чтобы немец, ее застав,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав,
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Немцу мыли его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу,
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Немец взял и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, так ее любил,
Чтобы немцы ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем
Обнаженную на полу,
Чтоб досталось трем этим псам,
В стонах, в ненависти, в крови,
Все, что свято берег ты сам,
Всею силой мужской любви...

Если ты не хочешь отдать
Немцу, с черным его ружьем,
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что Родиной мы зовем,
Знай — никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
То молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей Родиной не зови,
Если немца убил твой брат,
Если немца убил сосед —

Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет,
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.

Если немца убил твой брат —
Это он, а не ты солдат,
Так убей же немца, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон —
А в его — по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,—
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его — пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Июль

СТИХИ 1941 ГОДА

Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой.
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой...

Здесь это горе знают понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой притти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

За тридевять земель, в горах Урала,
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой,
Я верю, мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.

Но если нет... Когда наступит дата
Ему, как мне, итти в такие дни,
Вслед за отцом по праву, как солдата,
Прощаясь с ним, меня ты помяни.

Минское шоссе
Июнь

А. Сурков

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный больше, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезой и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
По русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют,
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился:

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Кандалакша
Ноябрь

ТОВАРИЩ

Вслед за врагом пять дней, за пядью пядь,
Мы по пятам на запад шли опять.

На пятый день под яростным огнем
Упал товарищ, к западу лицом.

Как шел вперед, как умер на бегу,
Так и упал и замер на снегу.

Так широко он руки разбросал,
Как будто разом всю страну обнял.

Казалось, он, отдавший жизнь в бою,
И мертвый землю не отдаст свою.

Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей.

Но сыну было — пусть узнает мать —
Лицом на запад легче умирать.

РОДИНА

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Вся в черных обручах меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину, такую,
Какой ее ты в детстве увидал:

Кусок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Итти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

ТАРАС БУЛЬБА

К концу уже близок геройский рассказ.
Багровое солнце висит над степями.
В дыму задыхается старый Тарас,
Прикрученный к дубу тройными цепями.

Хрипит волосатая грудь на костре,
До грузных плечей добралось ему пламя.
Он смотрит туда, где на синем Днепре
Гуляет по ветру казацкое знамя.

Сквозь пламя и дым куренным он велит
Рубиться весь век с басурманскими псами,
И ветер степной над огнем шевелит
Готовыми вспыхнуть седыми усами.

Мы вспомним Тараса и песню споем,
Как пули свистали в клубящемся прахе,

Как трое танкистов сгорели живьем,
Не сдавшись в неволю, на Киевском шляхе.

Я знаю — отчизна им силу дала,
Им службу Тарасова кровь сослужила.
Я знаю — она в это время текла
В их черных, от пламени вздувшихся жилах.

Мы шапки над павшими снимем не раз.
С отцами бывало и с нами бывает...
...Горит над стремниною старый Тарас,
И пламя седые усы обвивает.

БИНОКЛЬ

Словно смотришь в бинокль перевернутый:
Все, что сзади осталось,— уменьшено.
На вокзале, метелью подернутом,
Где-то плачет далекая женщина.

Снежный ком, обращенный в горошину,—
Ее горе отсюда невидимо;
Как и всем нам, войною непрошеной
Мне жестокое зрение выдано.

В нем туманится наше недавнее,
Как равнина, пустая и снежная,
Там не видно тебя, моя славная,
Твоих плачущих глаз, моя нежная.

Были грустью и ревностью мелкою
Наши судьбы непрочно испытаны,

Суетливой секундною стрелкою
Были дружба и верность отсчитаны.

Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением.

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся,
Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.

Слишком многих друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение,
И обратно не все увеличится
В нашем, горем испытанном, зрении.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди...
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь.
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет «повезло».
Не понять не ждавшим, им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,—
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

СТИХИ 1939 ГОДА

ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

У этого поезда плакать не принято. Штраф.
Я им говорил, чтоб они догадались повесить.
Нет, не десять рублей. Я иначе хотел, я был прав,—
Чтобы плачущих жен удаляли с платформы за десять...
Понимаете вы, десять самых последних минут,
Те, в которые, что ни скажи, не дослышат,
Те, в которые жены перчатки отчаянно мнут,
Бестолковые буквы по стеклам навыворот пишут.
Эти десять минут взять у них, пригрозить, что возьмут...
Они насухо вытрут глаза еще дома, в передней.
Может, наше тиранство не все они сразу поймут,
Но на десять минут подчинятся нам все до последней.

Да, пускай улыбнется! Она через силу должна,
Чтоб надолго запомнить лицо ее очень спокойным:
Как охранная грамота, эта улыбка нужна
Всем, кто хочет привыкнуть к далеким дорогам
и войнам.

Вот конверты, в пути пожелтевшие, как сувенир,—
Над почтовым вагоном семь раз изменялась
погода,
Шахматисты по почте играют заочный турнир,
По два месяца ждут от партнера ответного хода.

Надо просто запомнить глаза ее, голос, пальто—
Все, что любишь давно, пусть хоть даже ни за
что ни про что,

Надо просто запомнить и больше уже ни на что
Не ворчать, когда снова застрянет в распутицу
почта.

И домой возвращаясь, считая все вздохи колес,
Чтоб с ума не сойти, сдав соседям себя на
поруки,
Помнить это лицо без кровинки, зато и без слез,
Эту самую трудную маску спокойной разлуки.

На обратном пути будем приступом брать
телеграф.
Сыпать молнии на Ярославский вокзал, в упра
ленье;
У этого поезда плакать не принято. Штраф.
Мы вернулись! Пусть плачут. Снимите свое
объявленье.

МЕХАНИК

Я знаю, что книгами и речами
Пилота прославят и без меня.
Я лучше скажу о том, кто ночами
С ним рядом просиживал у огня,

Кто вместе с пилотом пил спирт и воду,
Кто с ним пополам по Москве скучал,
Кто в самую дьявольскую погоду
Сто раз провожал его и встречал.

Я помню, как мы друзей провожали
Куда-нибудь в летние отпуска;
Как щедры мы были, как долго держали
Их руки в своих, до второго звонка!

Но как прощаться, когда по тревоге
Машина уходит в небо винтом?

И, руки раскинув, расставив ноги,
В степи остаешься стоять крестом.

Полнеба окинув усталым взглядом,
Ты молча ложишься лицом в траву;
Тут все наизусть, тут давно не надо
Смотреть в надоевшую синеву.

Ты знаешь по опыту и по слуху —
Сейчас за грядой песчаных горбов
С ударами, еле слышными уху,
Обрушилось десять черных столбов.

Чья мать потеряет сегодня сына?
Чей друг заночует в палатке один?
С одинаковым дымом горит резина,
Одинаково вспыхивает бензин.

Никогда еще в небе так поздно он не бы
Сквозь палатку зажегся первый огонь.
Ты, как доктор, угрюмо слушаешь небо,
Трубкой к нему приложив ладонь.

Нет, когда мы справлялись об опозданьи,
Выходили встречать к «Полярной стрел
Нет, мы с вами не знали цены ожиданья
Ремесла остающихся на земле.

* *
*

Там, где им приказали командиры,
С пустыми карабинами в руках
Они лежали мертвые, в мундирах,
В заморских неуклюжих башмаках.

Еще отбой приказом отдан не был,
Земля с усталым грохотом тряслась.
Ждя похорон, они смотрели в небо;
Им птицы не выклевывали глаз.

Тень от крыла орлиного ни разу
Еще по лицам мертвых не прошла.
Над всею степью, сколько видно глазу,
Я не встречал ни одного орла.

Еще вчера в батальные картины
Художники по памяти отцов

Вписали полуночные равнины
И стаи птиц над грудой мертвецов.

Но этот день я не сравню с вчерашним,
Мы, люди, привыкаем ко всему,
Но поле боя было слишком страшным:
Орлы боялись подлетать к нему.

У пыльных юрт второго эшелона,
Легко привыкнув к тыловым огням,
На вешках полевого телефона
Они теперь сидят по целым дням.

Восточный ветер, вешками колыша,
У них ерошит перья на спине,
И кажется: орлы дрожат, заслыша
Одно напоминанье о войне.

ДЕРЕВЬЯ

У нас была юрта с дырявой крышей,
с поющим в щели сверчком.
Мы сидели в ней в полдень
и пили дымную воду
с консервированным молоком.
Пятую ночь дует ветер с Хингана,
наступают осенние дни...
Я так давно не видел деревьев!
Расскажи мне: какие они?
— Они очень, очень высокие,
они выше этой травы,
ни один двугорбый верблюд не дотянется
до их шумящей листвы.
Листва!
Но я сам забыл ее шелест,
скитаясь по этим степям;
большие и маленькие -

кусочки зеленого,
прицепленные к ветвям...
Деревья — их ьe с чем здесь сравнить:
они огромные, как облака,
они зеленые, как монгольский закат,
и шумные, как река.
А если их много,
целая роща,—
зеленое море огня,
зеленое утром,
черное ночью,
синее на исходе дня..,
Но, прервав наши речи на полуслове,
грохот донесся из-за реки,
как будто по очень глубоким ухабам
проехали грузовики.
И сразу на желтом пустом горизонте,
в мелкой степной пыли,
круглая темносиняя роща
выросла из-под земли.
Она выросла сразу.
Она выросла молча.
Она выросла, как стена.
Красивая темносиняя роща,
синяя дочерна.

Ну что же, смотри на нее, любуйся,
ты забыл здесь шелест листвы...
Но тот, кто давно не видел деревьев,
не повернул головы,
он только поглубже надвинул каску:
— Весь день облака и ветра,
опять эти рощи на горизонте!
Опять бомбежки с утра.

ТЫЛОВОЙ ГОСПИТАЛЬ

Все лето кровь не сохла на руках.
С утра рубили, резали, сшивали.
Не сняв сапог, на куцых тюфяках
Дремали два часа, и то едва ли.

И вдруг пустая тишина палат,
Который день на фронте нет ни стычки.
Все не решались снять с себя халат
И руки спиртом мыли по привычке.

Потом решились, прицепили вдруг
Все лето нам мешавшие наганы,
Ходили в степи слушать, как вокруг
Свистели суслики и тарбаганы.

Весь в пене мотоцикл приткнув к дверям,
Штабной связист привез распоряженье:

Отбыть на фронт, в прогулку, лекарям,—
Пускай посмотрят на поля сраженья.

Вот и они, те желтые холмы,
Где день и ночь дырявили и рвали
Все, что потом с таким терпеньем мы
Обратно, как портные, зашивали.

Как смел он, этот ржавый миномет,
С хромой треногой, чтобы опираться,
Нам стоить столько рваных ран в живот
И столько безнадежных операций?

Как гальку на прибрежной полосе,
К ногам осколки стали прибивает.
Как много их! Как страшно, если б все...
Но этого, по счастью, не бывает.

Вот здесь в окоп тяжелый залетел,
Осколки с треском разошлись кругами,
Мы только вынимали их из тел,
Мы в первый раз их видим под ногами.

Но где ж они, которые сюда
Стремились так упрямо и жестоко?

Вот их окопы. Больше никогда
Им не вернуться к пристани далекой.

Своих больных попрежнему лечa,
Мы все равно запомним, что когда-то
В нас верх над беспристрастием врача
Взяла по праву ненависть солдата.

Мы ехали с холодным ветерком,
Но за рекой, вся в ямах и увечьях,
Степь вдруг запахла диким чесноком,
Ночным теплом далеких стад овечьих.

ПОЕЗДКА НА ОЗЕРО БУИР-НУР

Это было, как осенью выезд на дачу,
Предпоследнее солнце машину пекло;
Мы, продравшись сквозь заросли наудачу,
Прямо въехали в брызнувшее стекло.

Между трав, между странных цветов козодоя,
Кто, чей рот в старину от жары пересох,
Приказал принести эту чашу с водою
И зарыть до краев ее в медный песок?

От войны только час по хорошей дороге.
Но ты входишь сюда и снимаешь наган,
И хозяева, встретив тебя на пороге,
Таз холодной воды придвигают к ногам;

Он огромный и синий, весь в ивовых рощах,
В пестрых косах песка и прибрежных камней,

Плеск воды и листвы чем обычней и проще,
Тем оглохшему уху их слышать странней.

Хоть на час как нам трудно понять, что
возможно
Снова ноги засунуть в горячий песок,
Слышать выстрелы щучьи и гомон дорожный
Диких уток, летящих на дальний мысок.

На заставе нас ждали от чистого сердца,
Был с картошкою подан баран молодой,
Миска воздух сжигавшего красного перца
И бутыль с голубой буирнурской водой.

Так был шумен мужской наш обед без хозяйки,
Словно мы на мальчишник забрались сюда,
Так лениво машины паслись на лужайке,
Так спокойно шумела о берег вода,

Что, когда за сигналом воздушной тревоги
Треск чужого мотора дошел до земли,
Мы не встали. Нас кверху приподняли ноги,
Мы узлом под скамейками их заплели.

Так бывает, что надо любою ценою
Нам еще хоть минуту прожить в тишине.

Мы упрямо сидели, пока стороною
Самолет мимо нас не прошел в вышине.

А теперь хоть и в путь! Ни короткой, ни долгой
Мы и даром не просим теперь тишины.
Сколько уток вокруг! Надо будет с двустволкой
Заглянуть в эти заводи после войны.

ФОТОГРАФИЯ

Я твоих фотографий в дорогу не брал:
Все равно и без них, если вспомним, приедем.
На четвертые сутки, давно переехав Урал,
Я в тоске не показывал их любопытным соседям.

Никогда не забуду после боя палатку в тылу,
Между сумками, саблями и термосами,
В груде ржавых трофеев, на пыльном полу
Фотографии женщин с чужими косыми глазами.

Они молча стояли у картонных домов для любви
У цветных абажуров с черным чортиком, с
шелковой рыбкой:
И на всех фотографиях, даже на тех, что в крови
Снизу вверх улыбались запоздалой бумажной
улыбкой.
Взяв из груды одну, равнодушно сказать:
— Недурна,

Уронить, чтоб опять из-под ног, улыбаясь,
глядела,—
Нет, не черствое сердце, а просто война,—
До чужих сувениров нам не было дела.

Я не брал фотографий. В дороге на что они мне?
И опять не возьму их. А ты, не ревнуя,
На минуту попробуй увидеть, хотя бы во сне,
Пыльный пол под ногами, чужую палатку
штабную...

ТАНК

Вот здесь он шел. Окопов три ряда.
Цепь волчьих ям с дубовою щетиной.
Вот след, где он попятился, когда
Ему взорвали гусеницы миной.
Но под рукою не было врача,
И он привстал, от хромоты страдая,
Разбитое железо волоча,
На раненую ногу припадая.
Вот здесь он, все ломая, как таран,
Кругами полз по собственному следу
И рухнул, обессилевший от ран,
Добыв пехоте трудную победу.

. . . . . .

Уже к рассвету, в копоти, в пыли,
Пришли еще дымящиеся танки,
И сообща решили в глубь земли
Зарыть его железные останки.

Он словно не закапывать просил,
Еще сквозь сон он видел бой вчерашний,
Он упирался, он, что было сил,
Еще грозил своей разбитой башней.
Чтоб было видно далеко окрест,
Мы холм над ним насыпали могильный,
Прибив звезду фанерную на шест,—
Над полем боя памятник посильный.

. . . . . .

Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне,
Я б на гранитной тесаной стене
Поставил танк с глазницами пустыми,
Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, в листах железа рваных,—
Невянущая воинская честь
Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах.
На постамент взобравшись высоко,
Пусть, как свидетель, подтвердит по праву:
Да, нам далась победа не легко.
Да, враг был храбр. Тем больше наша слава.

Семь километров северо-западнее Бани-Бурта
И семь тысяч километров юго-восточней Москвы,
Где вчера еще били полотняными крыльями юрты,
Только снег заметает обгорелые стебли травы.

Степи настежь открыты буранам и пургам.
Где он, войлочной город, поселок бессонных
ночей,
В честь редактора названный кем-то из нас
Ортенбургом,
Не внесенный на карты недолгий приют
москвичей?

Только круглые ямы от старых бомбежек,
Только сломанный термос, забытый подарок жены;
Волки нюхают термос, находят у снежных
дорожек
Пепел писем, которые здесь сожжены.

Полотняный и войлочный, как же он сдался
без бою,

Он, так гордо, как парусник, плывший сквозь
эти пески?
Может, мы, уезжая, и город забрали с собою.
Положили его в вещевые мешки?

Нам труднее понять это в людных огромных,
Как возьмешь их с собою — дома, магазины,
огни...
Да, и все-таки мы, уезжая, с собою берем их
И, вернувшись, их ставим не так, как стояли они.

Тут, в степи, это легче, тут все исчезает и тает.
След палатки с песчаным, травой зарастающим
швом.
Может, в этом и мужество — знать, что наш след
заметает,
Что весь мир умещается в нашем мешке вещевом.

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ «РОДИНА»

1. Марш через степи

Бригада шла по барханам.
От самого Ундурхана
Был только зной и песок,
Только зной и песок,
Сквозь броню и чехлы.
Приходилось мокрыми тряпками затыкать
кобуру нагана,
Как детей, пеленать крест-накрест орудийные
стволы.

Но глаза —
Их не забинтуешь,
Они были красными до ожога,
Хотелось их разодрать ногтями
И вынуть песок из-под век.
Он будет сыпаться долго-долго,
Как в песочных часах.

В глазах
Его так много,
Что можно, высыпав весь, сделать
Песчаные берега для нескольких рек,
А всю воду выпить.
Или нет — оставить немного на дне,
Чтоб потом, на обратном пути,
Хоть горстку, глоточек...
Майор просыпается от ожога —
Он прижался щекой к броне:
Шестьдесят градусов Цельсия.
В небе несколько точек.
Это орлы ушли вверх от жары.
В броневом зеленом стекле,
Через цепи низких барханов переваливаясь,
как утки,
Под абсолютно красным солнцем,
По абсолютно желтой земле
Абсолютно черные танки
Идут уже третьи сутки.
Все цвета давно исчезли.
Осталось только три:
Желтое...
Красное...
Черное —

Цвет жары,
Цвет крови,
Цвет стали.
Майор вылезает на башню.
Он слышит, как там, внутри,
Хрипло кашляют люди.
Они чертовски устали;
Надо вытащить их на башню, сюда,
Но сначала,
Сначала,—
Чорт возьми, как красиво:
Как это ни странно — с башни видна вода,
Настоящая, вдруг голубая,
А над ней — ивы.
Ивы, как дома, где-нибудь на Оке.
Но только они почему-то красного цвета.
И, только что голубая,
Вода в реке
Начинает краснеть, как лес на исходе лета.
Эй! Кто поджег воду?
А ивы гнутся так плоско,
Что вот они уже, как тростник,
Как трава.
Заливные луга...
Но сейчас же острой полоской

Как косой, вдоль всего горизонта подрезает их
синева,
И луга уплывают в иссиня-черное небо,
А вместо них прямо в землю втыкается лес,
Острый,
Сосновый...
Давно он в таком не был...
Сейчас бы туда, под сосну, в холод.
Скорей, пока не исчез!
Скорей, дайте двухверстку!
Я нанесу — тут лес и река,
Тут лес и река,
А топографы и забыли!
— Что, товарищ майор?
— Нет, ничего.
Опять одни облака
Желтой, как шар, туго скатанной пыли.
И еще молоко солончаковых озер,
Соль,
Остальное мираж,
Остального нету.
Он, как все, сначала не верил в эти цепи
тающих гор,
В этот пар над мнимой водой,
В эти речные расцветы.

Но все, чего нехватало в этой пустыне
Сводя нас с ума,
Катилось перед глазами:
Вода
И деревья,
Деревья,
С густыми,
С очень густыми,
С такими густыми, как хочется,
Ветвями,
Ветвями,
Ветвями.
— Денисов, на башню!
Скорее,— смотри!
Видишь реку?
— Не вижу.
И правда — пропала, одна просинь.
До реки осталось семьдесят три.
Семьдесят два,
Шестьдесят восемь.
Кого-то хватил удар.
За бугром, в стороне,
Экипаж ему наспех роет могилу.
Земля пересохла,
Она не желает,

По ней, как по броне,
С лязгом скользят лопаты.
Она мертвых берет через силу.
А живым — им некогда,
Им надо по танкам сесть,
Молча сдернуть шлемы
И ехать.
Нет времени на слова.
До реки осталось шестьдесят шесть,
Шестьдесят пять,
Шестьдесят два.

2. Сражение

Пехоты все еще не было.
Она утопала в песках,
Шла, задыхаясь, пылью,
Едва дыша.
Летчик, посланный на разведку,
Впереди нее в облаках
Летел, как оторванная от тела душа.
Он знал,—
За десять минут отсюда уже начинался бой.
Проклятье!
Он мог эти сутки для них
Сделать за десять минут.

Если б можно их всех на канатах потянуть вверх,
за собой,

Поднять,
Перенести
И поставить
За сто верст,
Там, где их ждут.
Он делал над их головами смертельные номера:
Двойной разворот,
Штопор,
Двойной разворот,
И смертельно усталые люди снизу хрипло кричали: «Ура!»

Они понимали, что он им хочет помочь скоротать
переход.

— Что ж, придется одним.
Майор потушил папиросу о клепку брони.
Комиссар дострочил на планшете последнюю
строчку жене.

Начальник штаба молча кивнул:
— Что ж, одни, так одни,—
И посмотрел на багровое солнце, плывшее в
стороне.

Все посмотрели на солнце.

Открыв верхние люки
На всех,
Сколько было,
Танках,
Сдвинув на лоб очки,
Положив на поручни башен черные кожаные руки,
Танкисты смотрели на солнце,
Катившееся через пески.
Не всем им завтра встретить восход под этими
облаками.

Майор поднялся на башню:
— За Родину!
В бой!
Сигналист крест-накрест взмахнул флажками.
И стальные люки с грохотом захлопнулись над
головой.

В броневом стекле вниз и вверх метались холмы
Не было больше
Ни неба,
Ни солнца,
Только узкий кусок
Земли, в которую надо стрелять.
Только они
И мы
И политый кровью песок.

— За Родину!
Значит, не просто за землю от Немана до Владивостока,
А за все, что ты, голодая и холодая, построил на ней.
За наши законы, в которых жестоко
Карают трусов
И смело возносят храбрых парней.
За Родину —
Значит, за наше право
Раз и навсегда
Быть равными перед жизнью и смертью.
Если нужно — в этих песках,
За мою мать,
Которая никогда
Не будет плакать, прося за сына, у чужеземца в ногах.
За Родину —
Значит, за наши русские, в липах и тополях, города,
Где ты бегал мальчишкой,
Где, если ты стоишь того,
Будет памятник твой,
За любимую женщину, которая так горда,
Что плюнет в лицо тебе, если ты трусом вернешься домой.

Облитая бензином, кругом горела трава;
Майор, задыхаясь от дыма, вытер глаза
черным платком,
Крикнул:
— Ура, за Сталина!
Стрелок не расслышал слова,
Но по губам угадал
И, стреляя,
Повторил их беззвучным ртом.
Снаряд ворвался в самую башню.
На мгновение глухота,
Как будто страшно ударили в ухо.
Стараясь содрать тишину,
Майор провел по лицу ладонью.
Она кровью была залита;
Стрелок привалился к его плечу,— как
будто клонило ко сну.
Майор рванул рукоять.
Пулемет замолк.
Замок
У орудья разодран в куски.
Но танк еще шел!
Танк еще шел!
Танк еще мог...
Еще сквозь пробоину плыло небо и летели
пески.

И вдруг застрял
И опять рванулся странным рывком.
— Денисов!
Водитель молчал.
— Денисов!
Молчал.
— Денис...
Майор качнулся вправо и влево в обнимку
с мертвым стрелком
И, оторвав мокрые пальцы,
Пролез вниз.
Водитель
Сидел, как всегда — руки на рычагах.
Посмертным усильем воли он выжал
передний ход.
Исполняя его последнее желанье.
В мертвых зрачках
Земля, как при жизни, еще летела вперед.
Похоронный марш,
Слава,
Вечная память —
Это все потом,
А пока на мокром от крови кресле надо
сидеть вдвоем.
Майор отодвинул мертвого,

Повернул лицом к броне
И, дотянувшись до рычагов,
Прижался к его спине...
Семь танков уже горело,
Справа,
Слева
И сзади
Были воткнуты в небо столбы дыма.
Но, согласно приказа, живые
Шли, не глядя,
Шли вперед,
Шли мимо,
Мимо праха товарищей,
Мимо горящих могил,
Недописанных писем,
Недожитых жизней.
Перед смертью бы каждый из них
попросил
Только горсть воды — себе
И победы в бою — отчизне.
Есть у танкистов команда:
«Делай, как я!»
Смерть не может прервать ее исполнения.
Заместитель умершего повторяет: — Делай,
как я! —

Умирает,
И его заместитель ведет батальон в наступление.

Экипаж твой убит.
Но еще далеко до отбоя,
И соседи не знают, что мертвым не прикажешь стрелять.

Если ты повернешь,
Вдруг они повернут за тобою,
Вечность,
Тридцать секунд
Потеряв, чтоб понять,
Да!
Но ты еще жив.
И, разодранный, страшный, молчащий.
Танк майора прорвался к реке.
Да, пускай не стрелять,
Только б в, землю их вмять,
Только б чаще
Превращать их машины в скорлупу на песке.

Майор срывает фляжу с ремня.
Воды больше нет.
Ну и чорт с ней!
Он сжимает сожженный рот!

В эту минуту победы
Больше нет
Ни тебя,
Ни меня,
Ни жажды,
Ни смерти,
Ничего,
Кроме — вперед!

3. Вечер после боя

Вечер...
Как далеко это поле сраженья
И слезы
Упоенья победой,
И последнего залпа дымок,
Перевернутых пушек колеса,
Бегство тех, кто успел,
И могилы тех, кто не смог.
После боя курили, сняв шлемы.
Над головой
Был зеленый с красным и черным закат,
Был короткий отдых,
И завтра опять бой,
Как вчера

И позавчера
И месяц назад.
Но они говорили совсем не об этом.
Чего ради
Повторять то, что снова начнется завтра с утра?

Они говорили о доме,
О маме
И о какой-то Наде
Так, как будто они оттуда только вчера.
Нет, неправда, к смерти привыкнуть нельзя.

Но это не значит — видеть ее во сне по ночам,
Думать о ней, открывая утром глаза,
Говорить о ней, поднеся котелок к губам.
И командир,
Который вчера был с ними в бою
И пойдет с ними завтра,
Садится рядом
И, греясь одним огнем,
Слушает их жизнь
И рассказывает свою,
И не боится вспомнить милую женщину и опустевший дом.

Его не тревожит их память о доме,

О любви,
Об уюте комнат.
Если б не было этого, где же тогда их сердца?
Из того,
Кто ничего не любит
И ничего не помнит,
Можно сделать самоубийцу,
Но нельзя сделать бойца.
Я люблю землю в холодных рассветах,
В ночных огнях,
Все места, в которых я еще никогда не жил.
Если б мне оторвало ноги,
Я бы на костылях,
Все равно, обошел бы все, что решил.
Я люблю славу,
Которая по праву приходит к нам
С ночами без сна,
С усталостью до глухоты,
Равнодушную к именам,
Жестокую по временам,
Но приходящую неизменно,
Если сам не изменишь ты.
Я люблю женщину,
Которая стоит того,
Чтоб задыхаться от счастья,

Когда она со мной,
Чтоб задыхаться от горя,
Когда она оставляет меня одного,
Чтоб не знать
Ни раньше,
Ни позже
Никого, кроме нее одной.
Но, когда между жизнью и смертью за них
Выбирать
Приходится только нам самим,
То, как ни бывает жаль умирать,
Мы не уступаем этого права другим.
Если ты здоров и силен
И ты уступил это право,—
Ты не смеешь ходить по земле,
Которую защищал другой.
Слава, трясясь над которой, ты струсил,
Уже не слава,
Женщину, за которую ты не дрался,
Ты не смеешь назвать дорогой.
Мы всосали эту жестокую правду с молоком
матерей.

Мы все такие,
И этого у нас не отнять.
Мы умеем жертвовать жизнью

Только одной —
Своей.
Но зато эту одну трудно у нас отобрать.
Мы не вспоминаем в эту минуту всех книг,
которые мы прочли,
Всех истин, которые нам сказали,
Мы вспоминаем не всю землю,
А только клочок земли,
Не всех людей,
А только женщину на вокзале.
Но за этим, ширясь, не зная преград,
Встает Родина,
Сложенная из этих клочков земли,
Встает народ,
Составленный
Из друзей, которые провожали нас — солдат.
Плывут облака, под которыми мы все росли.
А в бою есть только танки, идущие напролом,
Есть только красный флаг над желтым
песком,—
Что они не сметут,
То он подожжет.
Они дойдут до реки,
И пройдут эту реку вброд,
И пески за рекой,

И горы, которые за песками,
И еще пески,
И еще горы,
И леса, которые за горами,
Бесконечное множество рек, полей и лесов,
И, почернев в походах,
Они выйдут в другое столетье
На площади
Неизвестных нам городов;
Только там наконец они встанут на отдых.
Будет солнечный день.
Незнакомый нам завтрашний век,
Монументом из бронзы
На площадях
Они встанут рядами.
Верхний люк
Приподнимет бронзовый человек,
Сигналист просигналит бронзовыми флажками
И на всех,
Сколько будет их, танках,
Открыв верхние люки,
Подчиняясь приказу бронзового флажка,
Положив на поручни башен бронзовые руки,
Танкисты будут смотреть на солнце,
Катящееся через века.

4. Братское кладбище

Я там не был зимой, но я знаю: с утра
Ветер бьет об замерзшую воду.
Снега нет и в помине.
Ветра.
Адовая погода.
В эту продрогшую землю,
В мелких порошинках инея,
Словно их тронула проседь,
Вдавлены танков следы.
Они, как тульская сталь, холодные, синие,
Вползают наверх
От замерзшей воды.
А вверху,
Над ущельем, где разбитые грузовики
Вверх колесами спят,
Дожидаясь мертвых шоферов,
Где торчат из-под льда железные лепестки
Изорванных взрывом моторов,
Высоко надо всем, как гнездо орлов,
Наше братское кладбище
В горной дымке мороза.
Деревянные доски, и несколько слов,
И далеко в Рязани пролитые матерью слезы.
Но мне кажется — тут похоронен только один;

Он был русский парень с голубыми глазами,
Он погиб, не дожив до первых седин,
До славы, которая не за горами.
Он летчиком был.
А впрочем, не так:
Он был сапером,
Он мост наводил под обстрелом.
Нет, он не был сапером.
В одной из атак
Он майора от пули прикрыл своим телом.
Нет, неправда!
Тогда он выжил на счастье.
Он в пехоте и не был.
Скорей всего,
Говорят, он был из танковой части,
Потом ей дали имя его.
Много слухов идет о его кончине:
Говорят,
Что от смерти за два шага,
На своей курносой горящей машине,
Он, и рушась, протаранил врага.
Говорят,
Он, в сплющенном танке зажатый,
Перед смертью успел обожженным ртом.
Объяснить экипажу,

Как можно последней гранатой
Кончить сразу троим,
Если лечь на нее животом.
Говорят,
Что, когда его ранили в ногу,
Недвижим,
Окружен,
Далеко от своих,
Он, взмахнув над собой пулеметной треногой,
Уложил перед смертью последних троих.
Много слухов идет о его кончине,
Верно, был он героем, если столько о нем
говорят:
Как в их полк мать, рыдая, писала о сыне,
Как его гимнастерку надевал его младший
брат.
Говорят, его имя
Дают городам
И рекам.
То сурово, то ласково имя это звучит,
Потому что в бою был он очень крутым
человеком,
Но к друзьям и к любимым по-детски был
сердцем открыт.
Так был волосом рус он,

А глаза голубые,
Так любим он везде был, где довелось ему
жить,

Что все девушки плакали,
Даже чужие,
И все парни клялись за него отомстить.
Он лежит под землей, на границе,—
Но он сам, как граница.
Он лежит на орлином утесе,—
Но он сам, как орлиный утес.
Он описан на книжных страницах,—
Но он сам, как живая страница.
Он убит.
Но довольно,
Не плачьте —
Он не любил слез.
Он любил, чтобы, с глаз их рукавом сдирая,
Шли вперед,
Скупыми словами
Написав о смерти жене.
Это он
Окровавленным пальцем,
Заживо в танке сгорая,
«Большевики не сдаются»
Нацарапал на дымной броне.

Башн-Бурт — Москва
1939-1940

ГЕНЕРАЛ

Памяти Мате Залка

В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем.

В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Давно он уж в Венгрии не был,
С тех пор, как попал на войну,

С тех пор, как он стал коммунистом
В далеком сибирском плену.

Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад, к горящей отчизне,
Мадьяр повезли поезда.

Зачем в Будапешт он вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы,
Бежать за границу опять.

Он этот приезд не считает,
Он помнит все эти года,
Он должен задолго до смерти
Вернуться домой навсегда.

С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнем,
В Чапее о нем говорили,
В Хараме слыхали о нем.

Давно уж он в Венгрии не был,
Но, где бы он ни был, над ним

Венгерское синее небо,
Венгерская почва под ним,

Венгерское красное знамя
Его выручает в бою.
И, где б он ни бился, он всюду
За Венгрию бьется свою.

Походный огонь освещает
Суровые складки лица,
Рукав с генеральской нашивкой,
Тяжелый кулак кузнеца.

Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражен.

Но я никому не поверю:
Он должен еще воевать,
Он должен в своем Будапеште
До смерти еще побывать.

Пока еще в небе испанском
Германские птицы видны,

Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.

Он жив. Он сейчас под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

1937

ИЗГНАННИК

Испанским республиканцам

Нет больше родины. Нет неба, нет земли,
Нет хлеба, нет воды. Все взято.
Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли
Припасть к ней пересохшим ртом солдата.

Чужое море билось за кормой,
В чужое небо пену волн швыряя,
Чужие люди ехали «домой»,
Над ухом это слово повторяя.

Он знал язык. Его жалели вслух
За костыли и за потертый ранец,
А он, к несчастью, не был глух,
Бездомная собака, иностранец.

Он высадился в Лондоне. Семь дней
Искал он комнату. Еще бы!

Ведь он искал такой чердак, чтоб был бедней
Последней лондонской трущобы.

И наконец нашел. В нем потолки текли,
На плитах пола промокали туфли,
Он на ночь у стены поставил костыли —
Они к утру от сырости разбухли.

Два раза в день спускался он в подвал
И медленно, скрывая нетерпенье,
Ел черствый здешний хлеб и запивал
Вонючим пивом за два пенни.

Он по ночам смотрел на потолок
И удивлялся, ничего не слыша;
Где самолеты, неба черный клок
И звезды сквозь разодранную крышу?

На третий месяц здесь, на чердаке,
Его нашел старик, прибывший с юга.
Старик был в штатском платье, в котелке.
Они едва смогли узнать друг друга.

Старик спешил. Он выложил на стол
Приказ и деньги — это означало,

Что первый час отчаянья прошел,
Пора домой, чтоб все начать сначала.

Но он не может.— Слышишь, не могу,—
Он показал на раненую ногу.
Старик молчал.— Ей-богу, я не лгу.
Я должен отдохнуть еще немного.

Старик молчал.— Еще хоть месяц так,
А там—пускай опять штыки, застенки, мавры...
Старик с улыбкой расстегнул пиджак
И вынул из кармана ветку лавра.

Три лавровых листка. Кто он такой,
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет, он гладил их рукой,
Губами осторожно трогал.

Как он успел забыть? Три лавровых листка
Что может быть прочней и проще?
Не все еще потеряно, пока
Там не завяли лавровые рощи.

Он в полночь выехал. Как родина близка,
Как долго пароход идет в тумане...
. . . . . .

Когда он был убит, три лавровых листка
Среди бумаг нашли в его кармане.

РАССКАЗ О СПРЯТАННОМ ОРУЖИИ

(Сюжет заимствован у *Р. Х. Сендера*)

Им пятый день давали есть
Соленую треску.
Тюремный повар зырезал
Им лучшие куски —
На ужин, завтрак и обед
По жирному куску
Отборной, розовой, насквозь
Просоленной трески.
Начальник клялся, что стократ
Сытнее всех его солдат
Два красных арестанта
В его тюрьме едят.
А если им нужна вода,
То это блажь и ерунда:

Пускай в окно на дождик,
Разиня рот, глядят.
Они валялись на полу,
Холодном и пустом.
Две одиночки дали им,
Одним на всю тюрьму,
Чтоб в одиночестве они
Припомнили о том,
Известном только им двоим
И больше никому.
А чтоб помочь им вспоминать,
Пришлось топтать их и пинать,
По спинам их гуляли
Дубинки и ремни,
К ним возвращалась память, но
Они не вспомнили одно:
Где спрятано оружье, —
Не вспомнили они.

Однажды старшего из них
Под вечер взял конвой.
Он шел сквозь двор и жадным ртом
Пытался дождь глотать,
Но мелкий дождик пролетал,
Крутясь, над головой,

И пересохший рот не мог
Ни капельки поймать.
Его втолкнули в кабинет:
— Ну, как, припомнил или нет? —
Спросил его начальник.
А посреди стола,
Зовя его ответить «да»,
Стояла свежая вода
За ледяною стенкой
Вспотевшего стекла.

Сухие губы облизав,
Он выговорил: — Да,
Я вспомнил. Где-то под землей
Его зарыли мы,
Одно не помню только: где?
А чортова вода
Над ним смеялась со стола
Начальника тюрьмы.
Начальник, прекратив допрос,
Ему стакан воды поднес
К сухим губам вплотную
И... выплеснул в окно!
— Забыл? Но через пять минут
Сюда другого приведут.

Не ты, так твой товарищ
Припомнит, все равно!
Начальник вышел. Арестант
Услышал скрип дверной,
И в дверь ввалился тот, другой,
Оковами звеня.
Со стоном прислонясь к стене
Распухшею спиной,
Он прошептал: — Я не могу...
Они ведь бьют меня...
Я скоро сдамся, и тогда
Язык мой сам подскажет «да»...
Я знаю: в сером доме,
В подвале, в глубине...
— Молчи! — Еще молчу... пока...
А двери скрипнули слегка,
И в них вошел начальник:
— Ну, кто ж расскажет мне?

И старший арестант шепнул
С усмешкою кривой:
— Чорт с ним, с оружьем! Все равно
Дела к концу идут.
Я все скажу вам, но пускай
Сначала ваш конвой

Того, другого, уведет,
Он будет лишним тут.
Солдаты, отодрав с земли,
Того, другого, унесли,
Локтями молча тыча
В его кричащий рот.
Тот ничего не понял, но
Кричал и рвался; все равно
Он знал, что снова будут
Бить и в ребра и в живот.

— Кричит! — заметил арестант
И, побледнев едва,
За все, что выдаст, попросил
Себе награды три:
Стакан воды сейчас же — раз,
Свободу завтра — два,
И сделать так, чтоб тот, другой,
Молчал об этом — три.
Начальник рассмеялся: — Мы
Его не пустим из тюрьмы.
И слово кабальеро,
Что завтра, к двум часам...
— Нет, я хочу не в два, не в час.—
Пускай он замолчит сейчас!

Я на слово не верю,
Я должен видеть сам
Начальник твердою рукой
Придвинул телефон:
— Алло. Сейчас же номер семь
Отправить в карцер, но
Весьма возможно, что бежать
Пытаться будет он...
Тогда стреляйте так, чтоб я
Видал через окно...
Он смаху бросил трубку: — Ну?
И арестант побрел к окну
И толстую решетку
Тряхнул одной рукой.
Тюремный двор и гол и пуст,
Торчит какой-то дохлый куст,
А через двор понуро
Плетется тот, другой.

Конвой отстал на пять шагов.
Настала тишина.
Уже винтовки поднялись,
А тот бредет сквозь двор...
Раздался залп. И арестант
Отпрянул от окна.

— Вам про оружье рассказать,
Не правда ли, сеньор?
Мы спрятали его давно.
Мы двое знали, где оно.
Товарищ мог бы выдать
Под пыткой палачу.
Ему, который мог сказать,
Мне удалось язык связать.
Он умер и не скажет.
Я жив — и я молчу!

Всю жизнь любил он рисовать войну,
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.

Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав еще мальчишкою с «Ньюпора»,
Он в сорок лет разбился, до конца
Не испытав последнего мотора.

Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели,

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы...

ИЗ ПОЭМЫ «ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ»

На голубом и мокроватом,
Чудском потрескивавшем льду
В шесть тыщ семьсот пятидесятом
От сотворения году,

В субботу пятого апреля,
Сырой рассветною порой
Передовые рассмотрели
Идущих немцев темный строй.

На шапках перья птиц веселых,
На шлемах конские хвосты,
По небу на древках тяжелых
Качались черные кресты.

Оруженосцы сзади гордо
Везли фамильные щиты,

На них гербов медвежьи морды,
Оружье, башни и цветы.

Все было дьявольски красиво,
Как будто эти господа,
Уже сломивши нашу силу,
Гулять отправились сюда.

Ну что ж, сведем полки с полками,
Довольно с нас посольств, измен,
Ошую нас Вороний Камень
И одесную нас Узмень.

Под нами лед, над нами небо,
За нами наши города,
Ни леса, ни земли, ни хлеба,
Не взять вам больше никогда.

Всю ночь, треща смолой, горели
За нами красные костры.
Мы перед боем руки грели,
Чтоб не скользили топоры.

Углом вперед, от всех особо,
Одеты в шубы, в армяки,

Стояли, темные от злобы,
Псковские пешие полки.

Их немцы донняли железом,
Угнали их детей и жен,
Их двор пограблен, скот порезан,
Посев потоптан, дом сожжен.

Их князь поставил в середину,
Чтоб первый приняли напор.
Надежный в черную годину
Мужицкий кованый топор!

Князь перед русскими полками
Коня с разлета повернул,
Закованными в сталь руками
В пустое небо гневно ткнул.

— Пусть с немцами нас бог рассудит
Без проволочек тут, на льду,
При нас мечи, и, будь что будет,
Поможем божьему суду!

Князь поскакал к прибрежным скалам,
На них вскарабкавшись с трудом,

Высокий выступ отыскал он,
Откуда видно все кругом.

И оглянулся. Где-то сзади,
Среди деревьев и камней,
Его полки стоят в засаде,
Держа на поводу коней.

А впереди, по звонким льдинам
Гремя тяжелой чешуей,
Ливонцы едут грозным клином —
Свиной железной головой.

Казалось, вырвавшись из хлева,
Полезла в русские края,
Фырча и хрюкая от гнева,
Большая черная свинья.

Был первый натиск немцев страшен.
В пехоту русскую углом
Двумя рядами конных башен
Они врубились напролом.

Как в бурю пенные барашки,
Среди немецких шишаков

Мелькали белые рубашки
И шапки русских мужиков.

В рубахах стиранных нательных,
Тулупы на землю швырнув,
Они бросались в бой смертельный,
Широко ворот распахнув.

Так легче бить врага с размаху,
А если нужно умирать,
То лучше чистую рубаху
Своею кровью замарать.

Они с открытыми глазами
На немцев голой грудью шли.
До кости пальцы разрезая,
Склоняли копья до земли.

И там, где копья пригибались,
Они в отчаянной резне
Сквозь строй немецкий прорубались
Плечом к плечу, спиной к спине.

Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,

А князь попрежнему спокойно
Следил за битвою с горы.

Лицо замерзло, как нарочно,
Он шлем к уздечке пристегнул
И шапку с волчьей оторочкой
На лоб и уши натянул.

Его дружинники скучали,
Топтались кони, тлел костер.
Бояре старые ворчали:
— Иль меч у князя не остер?

Не так дрались отцы и деды
За свой удел, за город свой,
Бросались в бой, ища победы,
Рискуя княжьей головой!

Князь молча слушал разговоры.
Насупясь, на коне сидел;
Сегодня он спасал не город,
Не вотчину, не свой удел.

Сегодня силой всенародной
Он путь ливонцам закрывал.

И тот, кто рисковал сегодня,
Тот всею Русью рисковал.

Пускай бояре брешут дружно,
Он видел все, он твердо знал,
Когда полкам засадным нужно
Подать условленный сигнал.

И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, полыхнув мечом на солнце,
Повел дружину за собой.

Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки,

По льду летели с лязгом, с громом,
К мохнатым гривам наклонясь,
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.

И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,

С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.

Гнедые кони горячились,
Из-под копыт вздымали прах,
Тела по снегу волочились,
Завязнув в узких стременах.

Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды.
От гордых рыцарских отрядов
Остались жалкие следы.

Одни лежали, захлебнувшись
В кровавой ледяной воде,
Другие мчались прочь, пригнувшись,
Трусливо шпоря лошадей.

Под ними лошади тонули,
Под ними дыбом лед вставал,
Их стремена на дно тянули,
Им панцырь выплыть не давал.

Бежали, щелкая зубами
И облегчаясь на ходу.

Щиты с фамильными гербами
Валялись сзади них на льду.

Брело под взглядами косыми
Немало пойманных господ,
Впервые пятками босыми
Прилежно шлепая об лед.

И князь, едва остыв от свалки,
Из-под руки уже следил,
Как беглецов остаток жалкий
К ливонским землям уходил.

Сейчас, когда за школьной партой
«Майн Кампф» зубрят ученики
И наци пальцами по карте
Россию делят на куски,

Мы им напомним по порядку
Сначала грозный день, когда
Семь верст ливонцы без оглядки
Бежали прочь с чудского льда,

Потом напомним день паденья
Последних орденских знамен,

Когда, отдавший все владенья,
Был Русью орден упразднен.

Напомним им по старым картам
Места, где смерть свою нашли
Пруссаки, вместе с Бонапартом
Искавшие чужой земли.

Напомним, чтоб не забывали,
Как на ноябрьском холоду
Мы прочь штыками выбивали
Их в восемнадцатом году.

За годом год перелистаем.
Не раз, не два за семь веков
Оружьем новеньким блистая,
К нам шли ряды чужих полков.

Но, грустный опыт повторяя,
Они бежали с русских нив,
Оружье на пути теряя
И мертвецов не схоронив.

В своих музеях мы скопили
За много битв, за семь веков,

Ряды покрытых старой пылью
Чужих штандартов и значков.

Опять к оружию взывая,
Пусть вспомнят эти господа,
Что их не вывезет кривая,
Что будет грозен час, когда,

Не забывая, не прощая,
Одним движением вперед,
Свою отчизну защищая,
Пойдет разгневанный народ.

Когда-нибудь, сойдясь с друзьями,
Мы вспомним через много лет,
Что в землю врезан был краями
Жестокий гусеничный след,

Что мял хлеба сапог солдата,
Что нам навстречу шла война,
Что к западу от нас когда-то
Была фашистская страна.

Мы верим в это. Так и будет.
Не нынче — завтра грянет бой,

Не нынче — завтра нас разбудит
Горнист военною трубой.

«И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей!»

Август—декабрь
1937

ИЗ ПОЭМЫ «СУВОРОВ»

. . . . . .

3

В Швейцарии ему сказали,
Что путь на Сен-Готард закрыт.
Он огляделся — грозный вид! —
По черным ребрам скал вползали
И пропадали облака.
Над ними два орла летали,
И узкая, как нож, река,
С камней срываясь, клокотала.
Тогда, оборотясь к солдатам,
Он крикнул: — Русские снега
От нас далеко. Что ж, ребята,
Возьмем хоть эти у врага!
Старик шутил, но всякий знал,
Коль шутит он, так жди, что скоро
Махнет рукой, подаст сигнал —

Напропалую через горы.
Фельдмаршал наш — орел-старик,
Он на биваке дров найдет,
Из-под земли харчей достанет.
Зато беда — кто в бой отстанет,
В атаку мешкотно пойдет.
При Нови жаркий приступ был:
Мы трижды их атаковали,
Они нас трижды выбивали.
Завидев полк, идущий в тыл,
Старик примчал в одной рубахе,
Слетев с казацкого седла,
Перед полком, молчавшим в страхе,
Он бился об землю со зла.
...Что ж, мы пошли в четвертый раз
И взяли Нови!..
...Шли солдаты,
Сержант припоминал Кавказ,
Где он с полком бывал когда-то.
Кусая ус, седой капрал
Глядел на выси Сен-Готарда
И новобранцам бойко врал,
Что заготовлена петарда,
Вот как забьют да запалят...
Скользя, взбираясь вверх по тропке,

Суворов объезжал отряд.
На вьючной лошади в коробке
Везли и жезл и ордена,—
Они нужней ему в столице.
С одним георгием в петлице,
В мундире грубого сукна,
Он проскакал вперед по мосту.
Дощечки тонкие тряслись.
Свистали пули. Аванпосты
Уже с французами сошлись
И первый натиск задержали.
Так начинался Сен-Готард.
Костров иль господин Державин,
Или иной российский бард
Уже пальбу отсюда слышит
И, вдохновением горя,
Уже, наверно, оду пишет,
С железной лирой говоря:
«Се мой (гласит) он воевода.
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь, полночного народа,
Девятый вал в морских волнах» [1].
Средь воинских трудов суровых

[1] Г. Державин

Фельдмаршал муз не забывал,
Питу бедному, Кострову,
По сто червонцев выдавал,
И все эпистолеты, оды,
Все, посвященное ему,
В секретном ящике комода
Хранилось в кобринском дому.
По черным скалам стлался дым,
Уж третий час, как батальоны
Вслед за фельдмаршалом седым
Карабкались по горным склонам.
Скользили ноги лошадей,
Вьюки и люди вниз летели.
Француз на выбор бил. Потери
Давно за тысячу людей.
Темнело... А Багратион
Еще не обошел французов.
Он, бросив лошадей и грузы,
Взял гренадерский батальон
И вверх повел его по кручам
Глубоко в тыл. Весь день с утра
Они ползли все ближе к тучам,
Со скал срывали их ветра,
С обрывов осыпался камень,
Обвал дорогу преграждал...

Вгрызаясь в трещины штыками,
Они ползли.

Суворов ждал.

А время шло. Тумана клочья
Спускались на горы. Беда —
Фельдмаршал приказал хоть ночью
Быть в Сен-Готарде. Но когда
Последний заходящий луч
Уже сверкнул за облаками,
Все увидали: выше туч,
Край солнца зацепив штыками,
Там, где ни тропок, ни следов,
От ветра, как орлы, крылаты,
Стоят на гребне синих льдов
Багратионовы солдаты.

4

Француз бежал. И на вершину
Пешком взобравшись по горе,
У сен-готардских капуцинов
Заночевав в монастыре,
Суворов первый раз за сутки
На полчаса сомкнул глаза.
Сквозь сон ловил он слухом чутким

Как ветер воет, как гроза
Гремит внизу у Госпиталя.
Нет, не спалось... Затмив луну,
По небу клочья туч летали.
Он встал к открытому окну,
В одном белье и необутый.
Холсты палаток ветер рвал.
Дождь барабанил так, как будто
На вахтпараде побывал.
— Послушай, Прошка! — Все напрасно,
Как ни зови — ответа нет.
Лишь Прошкин нос, от пьянства красный,
Посвистывает, как кларнет.
И всем бы ты хорош был, Прохор,
И не было б тебе цены,
Одно под старость стало плохо —
Уж больно часто видишь сны.
И то ведь правда, стар он стал,
То спит, то мучится отдышкой,
И ты давно уж не капрал,
И Прошка больше не мальчишка.
И старость каждого из вас
Теперь на свой манер тревожит:
Один — сомкнуть не может глаз,
Другой — продрать никак не может.

Из темноты, с доски каминной,
Вдруг начали играть часы:
Сперва скрипучие басы
Проскрежетали марш старинный,
Потом чуть слышная свирель
В углу запела тонко-тонко.
Суворов вспомнил: эту трель
Он слыхивал еще ребенком —
Часы стояли у отца
На полке, возле русской печки.
Три белых глиняных овечки
Паслись у синего дворца.
На башне начинался звон,
Вверху распахивалась рама,
И на фарфоровый балкон
Легко выскакивала дама...
Нащупав в темноте шандал,
Он подошел к часам со свечкой.
Все было так, как он и ждал —
И луг, и замок, и овечки,
Но замок сильно полинял,
И три овечки постарели,
И на условленный сигнал
Охрипшей старенькой свирели
Никто не вышел на балкон.

Внутри часов заклокотало,
Потом раздался хриплый звон,
Пружина щелкнула устало...
Часы состарились, как он,
Они давно звонили глухо,
И выходила на балкон
Уже не дама, а старуха.
Потом старуха умерла.
Часы стояли опустело,
И лишь пружина все гнала
Вперед их старческое тело.
Глагол времен — металла звон,
Он знал, прислушавшись к их ходу,
Что в Сен-Готарде начал он
Последний из своих походов.

5

Прорвавшись в Муттен, он узнал
От муттентальского шпиона,
Что Римский-Корсаков бежал,
Оставив пушки и знамена,
Что все союзники ушли,—
Кругом австрийская измена,
И в сердце вражеской земли

Ему едва ль уйти от плена.
Но что нам плен? Полвека он
Учил полки и батальоны,
Что есть слова: «давать пардон»,
Но нету слов: «просить пардону».
Не переучиваться ж им!
Так, может, покориться року
И приказать полкам своим
Итти в обратную дорогу?
Но он учил за годом год,
За поколеньем поколенье,
Что есть слова: «итти вперед»,
Но нету слова: «отступленье».
Пора в поход вьюки торочить!
Он верит — для его солдат
И долгий путь вперед короче
Короткого пути назад.
Наутро созван был совет,
Все генералы крепко спали,
Когда фельдмаршал, встав чуть свет,
Пошел бродить по Муттенталю.
В отряде больше нет, хоть плачь,
Ни фуража, ни дров, ни хлеба.
Четыреста голодных кляч
Трубят, задравши морды к небу.

В разбитой наскоро палатке
Вповалку егеря лежат,
У них от холода дрожат
В крови запекшиеся пятки.
Пять суток без сапог, без пищи,
По острым, как ножи, камням,—
Кто мог, обрывки голенища
Бечевкой прикрутил к ступням.
Где повалились, там и спали.
И нынче, встав уже с утра,
Сырые корешки копали,
Сбирали ветки для костра
И шкуру павшего вола
Штыками на куски делили
И, наверкув на шомпола,
Перед костром ее палили.
Пусты сухарные мешки,
Ремнем затянуты покорно,
Гудят голодные кишки,
Как гренадерская валторна.
Поправив драную одежду,
Встают солдаты с мест своих
И на него глядят с надеждой,
Как будто он накормит их.
Но сам он тоже корки гложет,

Он не Христос, а генерал:
Из корок, чорт бы их побрал,
Он сто хлебов испечь не может!
Он видел раны, смерть, больницы,
Но может прошибить слеза,
Когда глядишь на эти лица,
На эти впалые глаза.
Статуты, Вены, Гофкригсраты,
Тугут, фамильные права...
Помилуй бог, зачем солдату
Все эти скушные слова?
На ворохе гнилой соломы
Стоял у полковой казны
Солдат, фельдмаршалу знакомый
Чуть не с турецкой ли войны,
Еще с Козлуджи, с Туртукая...
Стоит солдат, ружье в руках,
Откуда выправка такая,
Такая сила в стариках?!
Усы расчесаны седые,
Ремень затянут вперехват,
И пуговицы золотые
Мелком начищены, горят.
Мундир зашит на удивленье,
Стоит солдат, усы торчком;

В парадной форме по колени,
А ниже формы — босиком.
Подгреб себе клочок соломы,
Ногой о ногу не стучит.
А день-то свеж, а кости ломит,
А брюхо старое бурчит,
А на мундире десять дыр,
Из всех заплаток лезет вата.
Суворов подошел к солдату,
Взглянул на кивер, на мундир,
Взглянул и на ноги босые...
И, рукавом содрав слезу,—
От ветра, что ль, она в глазу? —
Спросил солдата: — Где Россия?
Когда тебя спросил Суворов,
Не отвечать — помилуй бог!
И гренадер без разговоров
Махнул рукою на восток.
Суворов смерил долгим взором
Отроги, пики, ледники.
По направлению руки
На сотни верст тянулись горы;
Чтоб через них пробиться грудью,
Придется многим лечь. Жесток
Путь через Альпы на восток:

Вздымая на горбах орудья,
Влезать под снегом, под дождем
На стосаженные обрывы...
— И все-таки ты прав, служивый,
Как показал, так и пойдем!
. . . . . .
С рассветом возвратившись в дом,
Где ждал совет его, впервые
Он все отличья боевые
Велел достать себе. С трудом
Надел фельдмаршальский парадный
Мундир из тонкого сукна,
Поверх мундира все награды,
Все звезды, ленты, ордена
За Ланцкорону, Прагу, Краков,
За Рымник, Измаил и Брест,
Перо с алмазом за Очаков
И за Кинбурн алмазный крест.
Подул на орденские ленты,
Пылинки с обшлагов стряхнул,
Потом, оправив эполеты,
С усмешкой на ноги взглянул:
Обрывком прелого шпагата
Подметка сшита с передком.
Еще — спасибо — верный Прошка,

Как только станешь на привал,
Глядишь: то плащ заштопал трошки,
То сапоги поврачевал.
За дверью ждали господа —
Полковники и генералы;
Его счастливая звезда
Их под знамена собирала.
Дерфельден и Багратион
И Трубников... Но даже эти
Молчали, присмирев, как дети,
И ждали, что им скажет он.
Казалось, недалеко — сдача.
Кругом обрывы, облака.
Ни пуль, ни ядер. Старика
В горах покинула удача,
Войска едва бредут, устав,
Фельдмаршал стар, а горы круты...
Но это все до той минуты,
Как он явился.
Увидав
Его упрямо сжатый рот,
Его херсонский плащ в заплатах,
Его летящую вперед
Походку старого солдата,
И волосы его седые,

И яростные, как гроза,
По-стариковски молодые
Двадцатилетние глаза,
Все поняли — скорей без крова
Старик в чужой земле умрет,
Чем сменит на другое слово
Свое любимое — «вперед».

6

Последний горный перевал...
На Рингенкопфе пела вьюга,
Холодный ветер завывал.
Гуськом, хватаясь друг за друга,
Ползли солдаты. Ни кирки,
Ни альпенштока. Ветер в спину.
Перевернувши карабины,
Шли, опираясь на штыки.
Подряд, как волны в океане,
У ног катились облака.
Протянешь руку — и рука
Сейчас же пропадет в тумане,
По сторонам тропы лежали
Обледеневшие тела.
Эй, чур не плакать! Как ни жаль их,

Но где добудешь им тепла,
Где шуба, чтобы их согреть,
Где заступ — вырыть им могилу,
Где хоть фонарь, чтоб через силу
В глаза умершим посмотреть?
Сегодня, заклепавши туго,
Швырнули пушки под откос.
Вся орудийная прислуга
Глядела вниз, давясь от слез.
А пушки падали, стуча,
Подпрыгивая на откосах,
Теряя в воздухе колеса
И медным голосом крича.
Суворов едет рядом с нами,—
Он еле жив; два казака,
Вплотную съехавшись конями,
Подмышки держат старика.
Пускай тиранит лихорадка,
Горит в груди, во рту горчит —
Суворов по своей повадке
Все ерничает да ворчит.
Артиллеристам помогая
Забыть про гибель батарей,
Австрийцев матерно ругает
Под громкий хохот егерей.

И, вдруг заметив, что отряд
Опять в дороге унывает,
Он для босых своих солдат
Тверскую песню запевает:
«Ах, что же с девушкой случилось?
Ах, что же с красной за беда?
Она все лапотки стоптала,
Не может выйти никуда».
Ни разу ни одни войска
Еще не шли по этим тропам.
На них взирает вся Европа,
Во всех углах материка
Гадают, спорят и судачат, —
Пройдут они иль не пройдут,
Что ждет их — гибель иль удача?..
Пусть их гадают! Только тут,
Среди лишений и страданий,
Среди камней и снежных груд,
Солдаты знали без гаданий,
Что русские везде пройдут!

1938—1939

СОДЕРЖАНИЕ

Стихи 1943 года

Дом в Вязьме 3
Три брата 6
Солдатский разговор 8
Матвеев Курган 10
У огня 13
Слепец 16
Счастье 20
Фляга 21

Стихи 1942 года

Пехотинец 23
Атака 24

Слава 26
Баллада 27
Смерть друга 28
Через двадцать лет 30
Безымянное поле 33
Убей его! 38

Стихи 1941 года

Майор привез мальчишку на лафете 42
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины 44
Товарищ 47
Родина 48
Тарас Бульба 50
Бинокль 52
Жди меня, и я вернусь 54

Стихи 1939 года

Транссибирский экспресс 56
Механик 59
Там, где им приказали командиры 61
Деревья 63
Тыловой госпиталь 66
Поездка на озеро Буир-Нур 69

Фотография 72
Танк 74
Семь километров северо-западнее Баин-Бурта 76
Главы из поэмы „Родина" 78

Стихи 1937—1938 года

Генерал 101
Двугавник 105
Рассказ о спрятанном оружии 108
Всю жизнь любил он рисовать войну 115
Из поэмы „Ледовое побоище" 117
Из поэмы „Суворов" 121

Пенз. Обл. б-ка
имени
М. Ю. Лермонтова
Читальный зал

6 руб.